

Сибил Бедфорд
Мексиканская
одиссея *Визит к дону*
Отавио



Paulsen

O! Le pauvre amoureux des pays chimériques¹

Верхние помещения вокзала Гранд Сентраль просторны и роскошны, как термы Каракаллы.

– Вы остановитесь на Исабель-ла-Католика, – сказал Гильермо.

– Очень любезно с вашей стороны, – сказала я.

– Пансион «Эрнандес».

– А что он собой представляет?

– Управляющий там недобрый. Он не дал мне забрать мои вещи, когда меня арестовали. Но у вас там проблем не будет.

– Кто знает, что будет, – сказала я.

– Трудно сказать, – сказал Гильермо. Его мать была мексиканская леди, а отцом, по словам Гильермо, был один шотландец. Гильермо походил на уличного кота, не очень сытого; казалось, единственное, в чем он силен, так это в науке выживания.

– О вас позаботятся друзья.

– Какие друзья?

– Друзья. Очень хорошие и полезные, – взглядом опытного филера он завилжал по полу. – Не упоминайте моего имени в пансионе.

– Не думаю, что это понадобится.

– Тем лучше, – сказал Гильермо.

После нескольких лет в Соединенных Штатах, где место в кино на популярный фильм надо бронировать за шесть недель, а чтобы зарезервировать отель, требуются терпение, проворство, в последнюю минуту поддержанные удачей, трудно ожидать, что снова обретешь свободу передвижения. В «Реформу» в Мехико-Сити не попасть ни за что на свете, сообщают вам в Америкэн Экспресс. Но вы не стремитесь в «Реформу», объясняете вы. Хорошо, но и в «Риц» попасть также непросто.

Тут вы сдаетесь. И тогда появляются Гильермо и пансион «Эрнандес». Гильермо одинок и услужлив и всегда бросается выполнять то, что вы хотели, и именно так, как вам того не надо.

– Давайте чего-нибудь выпьем, – сказал Гильермо.

Мы сидели в баре вокзала и ждали. Времени было предостаточно. Багаж перешел в руки носильщиков, и внезапно, после стольких дней беготни, делать больше было нечего. Мы «принимали». Это означает, что люди забегали проводить нас и выпить за наше здоровье и за здоровье друг друга. Люди, которых мы не видели годами. «Прибытие» и «Отправление» – две огромные оси американского социального взаимодействия. Вы прибываете. Вы предъявляете рекомендательные письма. Вас немедленно окружает атмосфера каких-то больших и неясных надежд. Вы можете быть знаменитостью, можете быть хороши собой, или остроумны, или богаты, может быть, вы даже любезны. Но только одно имеет значение: вы – новинка. В Европе, где человеческие отношения, как одежда, должны служить долго, отношения с вами должно быть приятно носить. Во Франции вы должны быть «интересным», в Италии «славным», в Англии – «каким полагается». Здесь, где отношения между людьми не имеют степеней (близости), *sans lendemain*², где гости из-за границы – товар широкого потребления, отношения – это тоже товарооборот. Вас встречают, провожают, сопровождают, представляют, устраивают приемы в вашу честь, и бац – прежде чем вы успеете сказать «американский гражданин», вас уже ждут прощальные вечеринки и корзины с провизией. Вас целуют в щеки, вас хлопают по спине, вамжимают руку, вам присылают бутылки, цветы и подарки: вы отплываете. Великое колесо американского гостеприимства совершило свой холостой оборот.

У этих последних дней особая атмосфера и особое напряжение, возрастает количество всего: больше вечеринок, больше людей, выпивки. При всей небрежности своего радушия эта суета не бессмысленна. Теплота, неожиданная близость, душевный порыв – это не фальшивка, а ритуал. Отплытие для

американцев – символ путешествий: свершившихся и возможных, их опасностей и благополучных исходов, уединения и бегства. Они могут остаться, тем самым себя обезопасив, но могут и двинуться в путь, доказывая свою свободу. Опасный, вожделенный, презираемый и удивительный континент – Европа – находится всего в нескольких днях пути через море. Отплытие – это начало движения домой. Прощание – это магический акт замещения: американцы продолжают верить в *l'adieu suprême des mouchoirs*³.

Между отправлением и прибытием – если вы достаточно бестактны, чтобы задержаться, – пролегает ничейная территория, на которой можно заводить друзей и жить своей собственной жизнью. Страна огромна, и выбор тоже. Собственная жизнь и друзья редко оказываются среди гостеприимных персонажей первых бурлящих недель. Некоторые исчезают и, если ненароком вы опять повстречаетесь с ними, они окажутся слишком любезны, чтобы поинтересоваться: «Вы все еще здесь?». Вместо этого они скажут: «Позвоните мне как-нибудь!». «Непременно!» – ответите вы, и еще год все идет по-прежнему. Другие появляются по знаменательным датам, не различимые лица на среднем расстоянии, которые всю зиму попадают на одних и тех же светских мероприятиях в Нью-Йорке. Вы их зовете по имени, передаете им бокалы, но встречи не происходит.

Когда вы наконец уезжаете, происходит социальное возрождение. Приглашения и «гостинцы на дорожку» так и сыплются, будто вы – семья Ситвеллов⁴ и пробыли здесь всего пять недель. В моем случае возрождение частично, поскольку уезжать не по морю – не считается, а Мексика – тот же континент, ну или почти тот же.

В баре работает кондиционер. Это означает, что сначала вам прохладно, потом холодно, потом вы начинаете дрожать. Потом вам опять становится тепло и как-то липко; воздух начинает пахнуть стальными ножами, в ушах поднимается шум, становится трудно дышать; вас бросает в холодный пот, и тут пора уходить.

Мы вышли в Мозаичный зал. Здесь парило, как в китайской прачечной, от жары как будто мешком ударили по голове. В больших американских городах ужасное лето – безжалостное, неустанное, мертвящее. Очень жарко. Жара, отраженная бетоном и сталью, – синтетический, нечаянно сотворенный человеком, еще один побочный продукт индустриальной революции. На этом городском солнце ничего не растет: оно не согревает, а только мучает. Трудно поверить, что оно светит с небес. Оно не имеет ничего общего с чарующей силой солнца жарких стран. Оно не принадлежит ни природе, ни жизни, жизнь не приспособлена к нему, природа его отвергает. По духу и сути своей, по архитектуре и по привычкам Восточное побережье Америки остается категорически северным, холодная страна, которую муштрует солнце.

Днем город Нью-Йорк придавлен точно серой жестью. Закат не приносит облегчения. Ночь – душная шахта; в темноте температура остается такой же, невидимая жара приходит отовсюду – из-под ног, сверху, из тусклых топок вспотевшего камня и металла. Наивысшей точки жара достигает в самой сердцевине ночи: каждый лежит в одиночестве на своем матрасе, потому что соприкосновение с человеком невыносимо, пропадая в черной калькуттской дыре до тех пор, пока рассвет не поднимется на замусоренных улицах и в комнатах, словно грязный занавес, над неосвеженными телами.

Такое страдание довольно бессмысленно. Оно не укрепляет тело, а просто изнашивает его. И однако оно продолжается. Клерки мечтают о глубоких холодных озерах, об отдыхе в горах Адирондак⁵, о рыбачьей хижине в штате Мэн, где, по легендам, спать приходится под одеялом. Но никто ничего не предпринимает. Никто не знает, что следует предпринять. Слишком много овец в загоне.

Мы спустились под землю, где поезда стыли в нетерпении в серых бетонных туннелях. Гильермо был все еще с нами. Хоть он и не ехал, в руках у него была коричневая брезентовая сумка. Носильщик попытался забрать ее, Гильермо не отдавал. Сумка звякнула. Он заглянул в нее.

– Надо было подложить бумаги, – сказал он.

Я тоже заглянула. Прикрытые ковриком для ванной, там лежали стаканчики для зубных щеток, несколько вешалок, рассыпанные нафталиновые шарики, металлический чайник, лампочки и рулон бумаги.

– *Гильермо?*

– Из ваших апартаментов, – сказал он. – Не волнуйтесь, дорогая, вашему хозяину это, конечно, не нужно.

Гильермо держал несколько комнатух, напоминавших клетки для кроликов, в предназначенном на слом здании коричневого кирпича на Востоке, где-то на Тридцатых улицах. Вот так, надо думать, он их и обставлял.

Остров Манхэттен, ограниченный рекой, – не узловая станция, а тупик. Поезд, покидающий Нью-Йорк, движется наподобие краба. Ехать мы должны на юго-запад, а в туннель въезжаем в северном направлении. На Девяносто шестой поднимаемся в воздух. Сент-Луисский экспресс катится вдоль чего-то вроде ramпы, поднятой над улицей, как любая надземная дорога. Гарлем. Остановка на Сто двадцать пятой улице, возле самых крыш домов до смешного маленькая станция под рифленным железом. Верхние Сотые. Низкие кирпичные дома, вымытые оконные стекла, потеющие мужчины в майках, торчащие в комнатах весь долгий вечер напролет. Дети на мостовых внизу, прыгающие туда-сюда по кругам, нарисованным мелом, – да, старые добрые игры. Двести пятая улица. Мужчина бреется у открытого окна. Если бы мы плыли на лодке, сейчас мы бы спускались по Гудзону. Вокруг раздавались бы звуки реки. Возможно, «Королева Элизабет» стояла бы в порту. Мы проплывали бы причалы, доки, склады и читали бы названия лайнеров, отправляющихся в Рио и в Китай. Мы бы вдыхали запах океана, нас тянуло бы в мир. Затем мы обогнули бы Бэттери⁶, и открылся бы знаменитый контур на фоне неба и зажигающиеся огни. Это был бы Нью-Йорк величественных очертаний, а не Нью-Йорк низменных подробностей, и можно было бы разрыдаться.

А так было скучно, и мы были сами по себе. Нам удалось добыть отдельное купе. Они всего на доллар дороже, чем полка в общем вагоне, но их трудно достать. Наконец отправляемся. Я достала пинту джина, термос с кубиками льда, немного «Ангостуры»⁷, вынула из кожаного футляра вулвортские стаканчики, давно заменившие те стеклянные граненые стаканы в серебряных подстаканниках, с которыми наши предки путешествовали по миру, куда более приятному, чем наш, и сделала два небольших джина.

– А кто-нибудь заплатил мальчику от Беллоуз? – спросила Е.

– Я нет. А ты вернула книгу мистеру Холлидею?

– Забыла. Какой кошмар.

– Теперь уж ничего не поделаешь.

Что за передышка, какая свобода! Мы были в чьих-то неведомых и, предположительно, умелых руках. В руках «Железных дорог Востока и Миссури». Так будет четыре ночи и почти четыре дня. Четыре часа просидеть на стуле скучно, восемь – ужасно долго, двенадцать – просто страшно. Количество переходит в качество: четыре дня в поезде – это как перемирие в жизни. И всегда есть еда. Я приготовила корзину и картонную коробку. Если есть возможность, я всегда беру свою еду: она дает независимость и приятные хлопоты, она дешевле и обычно гораздо вкуснее. Я взяла несколько банок тунца, копченую икру, кусок салями и кусок provolone,⁸ ржаной хлеб и черный хлеб в упаковке долгого хранения. В первый вечер у нас все было свежее. Курица, зажаренная днем в гостях у друзей, еще теплая, несколько ломтиков этого американского чуда – вирджинской ветчины, темно-красные помидоры размером с мраморные шарики с рынка на Второй авеню, кресс-салат, дудочка хлеба, кубик сливочного сыра, пакет черешни и бутылка розового вина. Оно называлось «Лансерс, игристое розовое», и не надо пугаться этого названия. Вино португальское и очень изысканное. Сияющее, прозрачное вино, довольно насыщенное, не без послевкусия, не то что все эти розовые вина. Ему добавляет очарования то, что его разливают в гли-

няные бутылки, так что если его охладить, оно часами сохраняет прохладу. Я вытянула пробку своим французским штопором «зигзаг». Самый внятный звук на земле.

– Возьми маслину, – сказала я.

Серебряным складным ножом я нарезала помидоры. Нить масла из бутылки, два смятых листка базилика.

– Ты не видела перец?

Я вынула из чехла деревянную мельничку, полную зерен Tellichery цвета черного трюфеля. Понюхала. Эта мельничка, наверно, уже последняя капля. Едва ли боги могут одобрить ее. Как-то один знакомый рассказал мне о таксе, маленьком песике, которого выгуливали по Парижу на красном поводке. Такса ходила в нарядном красном пальто, а в пальто был кармашек, а из кармашка торчал платочек с ее инициалами. Это было чересчур, собачья кровь вскипала. На таксу напал пес без воротничка и перегрыз ей горло. Я не редко с сочувствием думаю об этой таксе.

Решение о путешествии было принято внезапно. Я совершенно не готова была ехать в Мексику. Я никогда не собиралась в Мексику. Я провела несколько лет в Штатах и собиралась обратно в Англию. Меня очень тянуло уехать, услышать другой язык, попробовать новую пищу, побывать в стране с долгой и скверной историей в прошлом и максимальным отсутствием истории в настоящем. Словом, меня тянуло путешествовать. Разумеется, я нацелилась на Америку, на Новый Свет, поразивший воображение людей елизаветинской эпохи. Канада? Кто же думает о Канаде. Аргентина была слишком новой, Бразилия – слишком далекой. Гватемала слишком современной, Сан-Сальвадор слишком тесным. Гондурас слишком британским. Я выбрала Перу.

Перу подходило по всем статьям и вызывало у меня самые невнятные ассоциации. Святая Роза Лимская. Перуанская архитектура – роскошные фасады, сияющие и разрушающиеся, цвет бишкитов, пропитанных Romanée-Conti⁹. Скорее всего, это были иллюстрации, но к какой книге? Массине¹⁰ на пике карьеры, тан-

цующий перуанские танцы в парижских варьете. Он выходил в черных браслетах и белых атласных бриджах, в одной руке держал клетку с попугаем, в другой – кофровую сумку, на которой бисером было вышито «Перу», и все сходили с ума от радости. Был еще один персонаж, с которым я отождествляла себя долгие годы: «Вы, быть может, не узнаете меня в этом жалком обличии, но я – Дон Алонсо д'Алькантарра, сын Дона Педро. Однажды мой стук раздастся в воротах Лимы и оповестит благородных юношей о том, что Дон Алонсо возвратился в город своих отцов!». Я наткнулась на этот волнующий шедевр, когда мне было семь, и почему-то – то ли взрослые помешали, то ли не хватало страниц – не смогла дочитать до конца. Между тем Дон Алонсо «научился не шевелить ни одним мускулом на лице, чтобы его благородные устремления не стали известны свету», и тому же училась я. Я решила, что надо вообще не двигать лицом, и просиживала перед зеркалом, как мне казалось, очень подолгу, стараясь не моргнуть глазом. Это было очень трудно, и у меня ничего не получилось.

О да, Перу, конечно же Перу! Я энергично взялась обходить турагентства. Предложений у них было мало, не считая одного, которое оказалось невероятно дорогим авиабилетом до Лимы. Мне просто не хватало денег. В Чили не шел ни один корабль в ближайшие полгода. Тогда я стала носиться с идеей поехать в Уругвай. Один знакомый из Монтевидео, влюбленный в Италию, рассказывал о нем, оставив у меня ощущение оперы, красного плюша, поздних вечеров и изысканных блюд, и что этот город несет бремя своей столичности с нечаянной грацией Рима. Он упомянул и судовладельца. Судовладелец так и не материализовался. Мексика меня тогда не привлекала – скорее уж слегка отталкивала вычурностью литературы о путешествиях туда. Когда я пришла в полное уныние, безуспешно разыскивая подходящую страну, к моим поискам присоединилась Е.М.А. Ее рвение было довольно сдержанным. Жизнь Е. – это история и политика. Раньше она появлялась на радио «Форум» как путешественник и комментатор. Она терпеть не может путешествий, точнее, пребывание в дороге она не находит ни приятным, ни даже сносным.

– Возможно, мне стоило бы посмотреть на родной континент, – сказала она, – правда, у меня никогда не возникало ни малейшего желания поехать в Латинскую Америку.

У турагентства, где записали мое имя, были забронированы билеты на поезд до Мехико в ближайшие выходные. Их-то мы и купили.

В этот день я пошла в библиотеку на Сорок второй улице и вернулась оттуда с дневниками мадам Кальдерон, Фанни Инглис, шотландки, которая вышла замуж за первого испанского посла в Мексике и провела там в 1830-х два незабываемых года. Потом она стала гувернанткой одного из многочисленных детей королевы Елизаветы. Около двадцати лет она оставалась при мадридском дворе, последовала за инфантой в изгнание, а по возвращении Бурбонов в Испанию, как и другая королевская гувернантка, мадам *de Maintenon*, сделалась маркизой. Она умерла в королевском дворце в Мадриде в возрасте восьмидесяти одного года, простудившись на торжественном обеде. Ее мексиканские дневники полны подробностей такого же рода. Полное название такое: «Жизнь в Мексике: два года пребывания в этой стране», автор мадам Кальдерон де ла Барка. Книга вышла в Англии в 1843 году с предисловием самого Прескотта, сразу стала бестселлером и получила хвалебную рецензию в «Эдинбург ревью». Я читала «Жизнь в Мексике» до рассвета и больше уже не вспоминала о Перу.

На равнинах Индианы природа, несомненно, торжествует. Мы часами ехали вдоль пшеничных полей – мили и мили тучных желтых колосьев нездешнего злака: видно, как они наливаются под бодрым небом. Пространство свирепствующего изобилия. Почти никаких признаков человеческого жилья, ни ферм, ни скота у дороги.

Насколько зависит от человека урожай с этих полей? Человек возделывает эту землю или управляет ею? Он крестьянин, механик или бизнесмен? Возможно, это и есть картина его окончательного поражения: человек, который поедает консервированные овощи, сидя в каркасном доме, а потом

усаживается на трактор вспахивать поле под урожай своей монокультуры, целиком предназначенный банкам в оплату кредитов, – он пал жертвой своей безобразной попытки скрепить природу с машиной.

Уточнение: если бы поля на Среднем Западе, в Канаде, Аргентине и на Украине обрабатывались бы так же, как в графствах близ Лондона, мы бы все умирали с голоду. О двуличная истина, о Мальтус¹¹, о компромисс – *действительно*, слишком много овец в загоне.

Нищий – Талейрану: «Мсье, должен же я что-то есть!». Талейран – нищему: «Мне вы этого не должны». Вот так: слово Талейрана против слова нищего.

Е., склонная к стадности, удалилась в вагон-ресторан, якобы ей хочется кофе. Я лежу на нижней полке, вокруг разбросаны мои вещи, и хочется забыть, что в Сент-Луисе придется пересаживаться. Пасьянсные карты, доска для письма, минеральная вода, фляжка с бренди, книги. Терри «Путеводитель по Мексике», мисс Комптон-Бернет «Те, кто старше и лучше», «Усадьба Хауэрдс-Энд», «Упадок и разрушение»,¹² «Горизонт», «Партизан Ревю», Гюго «Испанец», «Беспокойная могила»¹³, два детектива, один из них, Агаты Кристи (какая редкость!), ни разу не читан. Я знаю, что я довольна, спокойна и в ладу с собой. Я знаю, что это либо победа, либо полное безобразие. Радуюсь ли я моменту? Я знаю о нем, возможно, этого достаточно.

А поля Индианы все тянутся. Прошлое – повсюду, да и хрупкое настоящее также сразу становится прошлым. Пол Пеннифизер¹⁴ скитается среди всеобщей несправедливости, как Кандид, трагедии Айви Комптон-Бернетт отбрасывают софоклов свет на деяния мужчин, женщин и судьбы, Палинур¹⁵ держит руку на нашем слабом пульсе, и «связывание» мистера Форстера¹⁶ представляется окончательным ответом. Все они прикоснулись к истине.

Е. вернулась из вагона-ресторана очень раздраженной. Оказывается, в этом штате не только сухой климат, но и сухой закон достигли высшей степени сухости. В поезде нельзя зака-

зать не только спиртное, но даже содовую со льдом – тебя немедленно заподозрят в том, что ты собираешься употребить ее одним-единственным способом. Е. велели подождать, пока мы не пересечем границу штата. Все это очень запутанно. В Оклахоме и в Канзасе сухой закон самый сухой – иначе говоря, все пьют не просыхая. В Вермонте допустимы две бутылки спиртного в месяц, в Пенсильвании нельзя пить в воскресенье, в Техасе пить можно только дома, в Джорджии только пиво и легкие вина, в Огайо можно пить все и сколько угодно, но покупать только на почте. В Аризоне и Неваде сухого закона нет, но угощать индейца – уголовное преступление. В Нью-Йорке нельзя пить прилюдно утром в воскресенье, но можно заказать выпивку в номер. И нигде, ни в каком штате Америки нельзя купить, заказать или выпросить выпивку в день выборов.

Миссисипи! Найдется ли ребенок или юноша, которого при этом слове не тянуло бы в дальние края? Речной мир странствий и поздних восходов...

Comme je descendais des Fleuves impassibles
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs
Les ayant cloués nus aux pôtreaux de couleurs.

* * *

Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais...¹⁷

И сейчас, здесь, мы видим за окном вагона, за непреодолимой преградой, как широкий, медленный поток невозмутимо движется в заросших ветлами берегах по этому краю дикой и мужественной красоты. Величественный и печальный, без следа человека пейзаж плывет вдоль поезда в тишине; мрачная, темная зелень, торжественная пастораль, сердце сжимается тоской, одиночеством и предчувствием беды. Никогда мы не будем там. Закончится ли этот июньский день? О тяжелое, затянувшееся одиночество американского вечера!